

Керен Климовски

Королева Англии кусала в меня нос



ЧТО ПОЧИТАТЬ?

Что почитать?

Керен Климовски

**Королева Англии
кусала меня в нос**

«РИПОЛ Классик»

2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Климовски К.

Королева Англии кусала меня в нос / К. Климовски —
«РИПОЛ Классик», 2016 — (Что почитать?)

ISBN 978-5-386-09436-2

Героиня романа – молодая женщина, которая не может назвать своим ни один город – вспоминает и заново переживает взросление: безмятежное московское детство, эмиграцию семьи в Израиль, развод родителей, травлю одноклассников, теракт, в котором погибает любимый лучшей подруги. Протестуя, героиня создает иную реальность, и в ней возможно все: завоевать город, прокричать есенинские строчки, как заклинание, создать Отряд по Спасению Улиток, произвести кошку в королеву Англии, а пакет молока превратить в лирического героя. Роман затягивает читателя в петлю времени, где детство – настоящее спасение от трагедий взрослого мира, а смерти нет вообще...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-09436-2

© Климовски К., 2016
© РИПОЛ Классик, 2016

Содержание

Молоко	6
Девочка-которую-очень-любят	19
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Керен Климовски

Королева Англии кусала меня в нос

© Климовски Керен, 2016

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»,
2016

Моим родителям, с любовью

Молоко

На первый взгляд, это очень простая история. Мы – две израильтянки, которых увезли из России совсем маленькими. Мы вместе учились в американской школе в Питере, где временно работали наши родители, и подружились (хотя ты и старше на три года). Потом ты вернулась в Израиль, пошла в армию, влюбилась в одного мальчика... а его взорвали в автобусе, в котором могла быть и ты, Рахель. И я от отчаяния придумала одну безумную, нелепую игру – чтобы развеселить тебя или хотя бы позабавить, да сама не знаю почему...

Эта история совсем не про молоко, но молоко в ней главное действующее лицо: обычное коровье молоко в картонном бело-синем пакете компании «Тнува». Мне шестнадцать лет, у меня летние каникулы, на улице июльская израильская жара, я лениво встаю к полудню, но всегда соблюдаю ритуал: по утрам мы с папой пьем кофе с молоком. Говоришь «молллоко», думаешь «молллоко», и от ледяного «лллл» на языке становится прохладней, как будто лизнул сосульку, и в комнату врывается зимний ветер назло сорокаградусной жаре за окном – это там душно и влажно, и прохожие открывают рты, как рыбы на суше, и набухают собственным потом, и нельзя есть соленое, потому что от него хочется пить, а пить и так хочется – дальше некуда, а тут – у папы – гудит кондиционер, и полки с книгами скоро покроются коркой льда, а в руке – молоко, прохладное молллоко.

И в одно такое утро как раз собираешься поехать на море – после утреннего кофе, без завтрака, бросить в рюкзак полотенце и бутылку с водой, накинуть на купальник платье и поехать на море. Когда тебе шестнадцать, море – это отдельная история: оно ласкает тебя, каждый раз заново подтверждая ту жизнь, которая пульсирует в тебе так отчаянно, что иногда трогаешь запястье губами и считаешь: сколько раз в минуту, сколько раз в десять секунд, неужели вот это оно и есть, оно самое – моя жизнь? Знакомое с детства ощущение: в этих синих венах за бледной, почти прозрачной кожей, на которую так трудно ложится загар, таится смерть, отсюда это: вскрыть вены, значит, в венах смерть, но тут же рядом и жизнь – неутомимый пульс, часы жизни, которые заведены и хорошо идут, и никто не знает, когда остановятся, значит, жизнь и смерть живут совсем рядом в нашем теле.

И, вернувшись домой с моря, всегда трогаю свои руки и ноги, гладкие, отшлифованные морем, как ракушки и морские камни, лижу щиколотку – еще соленую, почему-то именно щиколотку, не запястье, может, именно потому, что до нее сложнее дотянуться губами, а значит, я лишний раз убеждаюсь в гибкости своего тела, в наполненности жизнью, такой очевидной и неиссякаемой, что ее должно хватить надолго, навсегда.

И вот я пью кофе, и слушаю радио, точнее, радио слушает папа, а я просто пью кофе – кофе с молллоком... «Автобус 516... взрыв...» Что за слова? Откуда? Не лезьте, я мечтаю о море, оставьте меня! «...Террорист... автобус 516... по дороге на север... погибшие и раненые...» Да что же это такое, откуда? А, это радио, но кажется, что с другой планеты, какие-то странные слова, я отбиваюсь от них, а они все равно лезут, и почему-то сжимается сердце: не может быть, нет, номер, наверное, неправильный, а они упрямо твердят: «516», и я трогаю босыми пальцами каменный пол, чтобы вернуть себе чувство реальности, ведь 516 – это автобус, в котором ты возвращаешься на базу рядом с Цфатом, Рахель, – каждую неделю, после выходных, а сегодня как раз воскресенье, и взрыв был в 8 утра... Надо что-то повторить, например слово «автобус», пока оно не потеряет всякий смысл, и звонить тебе, но ты не берешь трубку, не берешь, не берешь, бусавто, бусавто, бусавто, папа, заткни радио, выключи, ведь это можно сойти с ума! Рахель, ответь, я уже звонила восемь раз, оставила пять голосовых сообщений, бусавтобусавтобусавто, с этой несправедливостью я не смогу согласиться, ее просто не может быть, этого не может быть...

И вот тут очень важно рассказать про медуз, хотя они ко всему остальному отношения не имеют, тем более что медузы – это за неделю до взрыва, медузы – это привычное, но все, что произошло в июле 2002 года, связано с этой историей – это просто так, и все... Пляж почти пустой: лысые дядечки с большими животами не едят арбуз с брынзой под шезлонгом, не загорают в желтых и розовых купальниках смуглые марокканские красотки, не играют в песке голопопые карапузы, и как будто смыло волной заядлых игроков в «маткот» – не слышен стук пластмассового меча о деревянные ракетки, и в отсутствие этого неутомимого метронома пляж заполняет невесомая, полая пустота, в которой умирают все звуки. В воде всего пять человек, но никто из них не плавает – они странно стоят, чуть покачиваясь, похожие на поплавки. Захожу все глубже, взвизгивая каждый раз, когда рядом мелькает белопрозрачное желе. Озираюсь по сторонам, как будто высматриваю тайного врага, подпрыгиваю и дергаюсь от каждой волны, от каждого всплеска, принимаю за медузу грязный целлофановый пакет, колыхание песка в воде и собственную ногу. Вода чуть выше пояса, а я уже дошла до ручки: я уже живу в фильме ужасов Хичкока под названием «Медузы», и живой поплавок справа от меня – молодой парень – смеется. Я говорю:

– Может, ты с медузами дружишь, они тебя не смущают, ну и целуйся с ними!

А он продолжает смеяться. Я не знаю, что ему от меня надо: заигрывает или просто хочет поболтать – в Израиле не всегда разберешь, и одно может очень быстро перейти в другое, но в любом случае все очень легко и ни к чему не обязывает, и я постоянно завожу знакомства с самыми разными людьми, это очень веселое и интересное занятие, особенно здесь, где почти все сумасшедшие, особенно в июле, когда сумасшедшие все абсолютно. Он смеется – обычный израильский парень – черноглазый и загорелый, и немного нахальный, но при этом спокойный – значит, после армии – такой оттенок непоколебимой уверенности в себе, но без заносчивости, появляется именно после армии. Он говорит:

– Они меня и правда не смущают, но так забавно наблюдать за людьми и их реакциями... Я даже прозвища даю.

– В смысле?

– Ты всех превзошла.

– Да ну?

– «Исследовательница». В панике смотришь по сторонам и выискиваешь: откуда может прийти опасность...

– Может, от тебя?

– От меня?!

– Может, ты сам медуза?

Иврит – мой самый легкий язык, в том смысле, что легкий сам по себе – домашний, смешной, импульсивный, быстрый и как будто понарошку, не всерьез, поэтому на иврите я говорю очень быстро и сказать могу все, что угодно, не задумываясь. Намечается закат, я в своем любимом море, я знаю, что под водой скрыты мои соленые щиколотки, что во мне жизнь и кругом жизнь, и болтаю без умолку:

– Конечно, ты – медуза, поэтому они тебя и не жают, чувствуют, что ты один из них. Ты – волшебная медуза, которая может превращаться в человека, напускать на себя безразличие и заманивать невинных людей в море. Ты медузный жрец и приносишь нас всех в жертву медузному богу...

– А-а-а-а-а-а-а! Иди отсюда, – кричу я, отмахиваясь от щупальца. – А-а-а! Убери ее, у меня скоро будет душевная травма!

– Это у меня будет душевная травма – от твоих воплей. – И он берет медузу за шляпку, поднимает и держит у лица: – Ах ты моя медузочка, красавица моя, лапочка! – И вдруг неосторожным движением натывается на щупальца: – Твою мать, сука!

– Что, – говорю, – любовь прошла, завяли помидоры? Где ж нежные чувства, где солидарность, где уважение к личности, наконец? Цапнула – так сразу «сука»? Какой ты непостоянный...

И вдруг резко вылезаю из воды, надеваю шляпу с широкими полями и ухожу с пляжа – искушенная медузами вдоль и поперек и непонятно, странно счастливая.

И такая же странно счастливая я была, когда три дня смазывала себя противоаллергической мазью: от плеч до ступней – на теле не было ни одного живого места, я не могла ни сесть, ни лечь, все чесалось, зудело, пылало, даже температура поднялась, казалось, что я вся – один сплошной ожог... А потом – спустя неделю – услышала по радио сообщение о взрыве и поняла, насколько коварны медузы: жар и пылающая кожа притупили мое тревожное внимание, успокоили, ублажали, а оказалось, что вот он – настоящий ожог, когда в глазах не темно, а светло, слишком светло и ярко, так, что больно смотреть на этот белый свет – белый от солнца и от молока, которое льется мимо чашки с кофе на холодный, пятнистый пол. Какая же я дура, ведь надо было знать, надо было предчувствовать, что расплата будет, что цена есть у всего, а у того, что происходит со мной этим летом, – цена двойная. Когда наслаждаешься каждым движением, когда откровенно и нагло любишься своим телом и лижешь соленую кожу на щиколотках, и любишь все проявления этого мира, а особенно все вещественное и зримое, все, что на ощупь, по-щенячьи, без мысли, а по наитию, когда пальцы думают и познают за тебя, тогда – тогда надо очень четко понимать, что такое бездумное существование не может остаться безнаказанным, такое нахальное счастье не прощают...

Выбегаю на улицу, точнее, здание выдыхает меня на улицу, как застрявший в горле ком, а тут такая тяжесть воздуха, такое сопротивление, что бежать невозможно, только протискиваться сквозь воздух. Это даже не ветер, это небо такое низкое, что хлещет тебя по лицу, песчинки застревают на губах и ресницах, пот почти застывает и наслаивается на кожу, и дышать больно, а ты хочешь, чтобы тебе было больно, и твой взгляд напрягается, как упругая леска в руках рыболова, силясь разглядеть что-либо в густом, колючем воздухе, поймать на крючок любой предмет, зацепив его из песочного пространства, в котором все сливается и все время соскальзывает на раскаленный до блеска асфальт, и в этом скукоженном, почти нереальном мире-за-окном, мире за пределами молллока, кондиционера, мерного тиканья часов и всех этих утешительных вещей, мире, где люди ведут охоту за тенью, оскаливаясь друг на друга, в этом мире время плавится, распадается, минутам тесно, они выскальзывают из оболочки суток, оставляя в горсти лишь несколько секунд, как ящерица хвост, и так ощущается время – короткими отрезками, когда больно дышать, так больно, что на секунду, на пять, на десять забываешь про автобус номер 516.

В четыре ты наконец-то берешь трубку. Это точно ты, хотя он – другой, твой голос – в нем что-то новое, непонятное мне, в этом усталом «алло», но голос твой. А я не знаю – разрыдаться или рассмеяться, или сказать «я чуть с ума не сошла», я просто молчу, мои пальцы облегченно обмякают, трубка почти выскальзывает. Выдавливаю: «Ты в порядке?» – и слышу: «Нет». Вытираю потные пальцы о майку. А ты говоришь: «Йони погиб. Сразу. Его разорвало на куски. Еще два солдата из наших ранены, а Йони погиб». Ты говоришь: «Я должна была быть в том автобусе, просто опоздала». И еще ты говоришь: «Я все утро сидела на телефоне – звонила во все больницы и „скорые помощи“, ведь пол-автобуса было с нашей базы – розыск поручили мне».

Я молчу, я не могу понять: почему ты не сказала своему командиру: «Я любила Йони, я не могу делать вид, что жизнь продолжается – копаться в бумажках или смотреть в компьютер, мне тяжело и больно, дай мне увольнительную, хотя бы на пару дней, дай прийти

в себя»? Хотя... я знаю ответ: кто угодно, только не ты. Ты никогда не снизойдешь до того, чтобы рассказывать командиру или кому-либо еще о своих чувствах, ни при каких обстоятельствах, и эта работа – и компьютер, и бумажки – нужна сейчас прежде всего тебе самой. Я восхищаюсь твоей стойкостью, тем, что ты говоришь таким спокойным тоном – восхищаюсь и одновременно в ужасе перед тобой – такой сильной, слишком сильной, я никогда бы так не смогла, и я знаю, чего тебе это стоит... Вернее, нет, не знаю – догадываюсь.

Папин мир слишком аккуратный, упорядоченный, несмотря на тот бардак, который вношу я, разбрасывая всюду свои майки и лифчики, это мир молллока, а мне надо туда – в хаос, духоту, в пыльный хамсин. Солнце уже не такое яркое, оно грузно оседает за высокими домами, свет больше не ослепляет, он потемнел, помягчел, стал такой же, как песок – тепло-терракотовый. Я иду по парку, где мужики в шортах выгуливают породистых собак, а молодящиеся бабушки – кудрявых детей, иду мимо моей любимой скульптуры – синей полувлетающей девочки с открытым зонтиком, мимо скамейки, под которой гора шелухи от семечек, мимо холма, на котором иногда лежу и рассматриваю облака, иду и вспоминаю все, что знаю о Йони и о Йони и тебе, и понимаю, что знаю очень мало, почти ничего, и теперь не узнаю, и самое страшное – что не узнаете вы. Я знаю только, что он служил вместе с тобой, но на год старше – ему исполнилось двадцать, что у него была своя музыкальная группа с неприличным названием «Lucy's Pussy», что ты была влюблена в него и что он был очень необычный человек, и это – бесспорно, иначе ты не влюбилась бы, ты ведь ни в кого раньше не влюблялась, и вот наконец Йони, а тут... не просто несправедливость, а совпадение – совпадение любви и смерти, с очень коротким промежутком, в который нереально успеть – особенно с твоим характером, Рахель. Из всех совпадений – именно это, и еще одно: ты опоздала, ты должна была быть в том автобусе, вполне вероятно, ты сидела бы рядом с Йони, но задержалась у зеркала, или забыла что-то и вернулась, или просто проспала – наверное, даже огорчилась, когда пришла на остановку и тебе сказали: «516? Он только что уехал...» – а может, бежала за его красным задом, матерясь по-арабски...

Я не заметила, как побрела обратно к дому, а на автобусной остановке сидят два мужика и курят кальян, и густой пар от кальяна сливается с горьковатым, дымным от песка воздухом, так что кажется, будто этот пар соединяет небо с землей, будто эти мужики на одинаковом расстоянии от земли и от неба. Наверное, у меня совсем ошалевший взгляд, потому что один из них предлагает присоединиться, выдохнув пар из ноздрей, как волосатый дракон. Я отказываюсь, и тут же проходящая мимо старуха в обтягивающем спортивном костюме орет: «Разве можно отказывать мужчинам? Кто тебя воспитывал?» Это местная городская сумасшедшая – тощая, с вечным ядовитым макияжем в стиле 80-х на сморщенном лице. Я часто вижу ее: она закатывает истерики в автобусах, если рядом с ней садятся, считает, что эфиопы питаются кошками и что террористы взрывают нас от большой любви, идя к высокой цели, потому что только так наступит мир.

Иду дальше, группа подростков окружает меня. У них важный спор, и я должна помочь. «Ты потрогай мой Маген Давид, – говорит один из них, пытаясь поймать мою руку, – правда это – серебро? Скажи им, а то они не верят». Да, это именно то, что я искала, – пестрая израильская суэта, спасительное земное безумие, телесное, почти болезненное в своей остроте и напористости, доказательство существования мира вне моих мыслей. Я незаметно проскальзываю домой, спрятавшись от сумерек, звоню тебе, но ты не отвечаешь. Вешаю трубку – и сразу звонок. Рахель! Перезванивает! Мужской голос: «Можно заказать такси?» «Ошиблись номером», – говорю привычно и вдруг чувствую себя очень уставшей.

На следующее утро вижу фотографию Йони в газете – она в черной рамке, и рядом еще четыре фотографии – тоже в черных рамках. Наконец узнаю, как выглядит Йони, как

выглядел Йони – от этого нюанса, от вынужденного прошедшего времени, от этого маленького изменения в слове, которое отсылает существование целого человека в небытие, все внутри холодеет. Я знаю: разговоров о нем больше не будет, спрашивать – это делать тебе больно, упоминать – делать больно, а я не хочу делать больно, и в нашей дружбе появится молчание, мы будем делать вид, что целой главы нашей переписки не было, и телефонных разговоров со скупыми признаниями и шутками, и этой фразой, которую мне не забыть – «кажется, я влюбилась», – не было, и рядом с нами, между нами будет жить и с годами расти молчание по имени «Йони». Я смотрю на фотографию Йони в газете (он, конечно, не такой, каким я его представляла, но *таким* он и не мог быть, потому что я представляла кого-то, в кого влюбилась бы я, а это человек, в которого влюбилась ты, Рахель). И когда я смотрю на фотографию Йони, меня пронзает именно эта мысль: не успели, не успели, и даже больше – не сказали! И самой себе не могу объяснить эту странную заикленность – неужели если бы вы успели объясниться или поцеловаться, если бы Йони стал твоим первым мужчиной, тебе было бы сейчас легче? Нет конечно – ровно наоборот, по всей логике вещей – наоборот, и все же... и все же мне не дает покоя именно эта недосказанность – неосуществленный разговор, неоконченный диалог, непреодолимое отсутствие катарсиса, я не могу с этим смириться и пытаюсь представить себе, как это – проглотить слова, которые так долго были на кончике языка и грозились сорваться, а потом вдруг стало поздно, адресат выбыл, и эти слова – не востребуемые, ненужные – осели на дно души, но окончательно от них не избавиться – их некому вернуть и невозможно уничтожить, и я решаю, про себя решаю, что я бы не пережила этого – решаю, и помню про свое решение, и всегда потом не жду – боюсь, и знаю, насколько обманчива видимость пружинистой жизни в человеке и пульсирующее жизнью запястье – резко, даже отчаянно не жду: говорю первая – раньше, чем надо, раньше, чем можно, даже тогда, когда совсем нельзя, главное – поскорее избавиться, перестать владеть этими словами, не рисковать тем, что они могут остаться со мной навсегда, и мама говорит, что во мне нет загадки и я – прямая, как танк, а я отвечаю: я просто израильтянка – я знаю кое-что про смерть, то есть про жизнь.

Еще одна твоя фраза: «У меня нет ненависти. Я бы хотела – ненависть помогает, если бы я могла ненавидеть, мне было бы легче. Мне страшно жалко этого несчастного идиота с промытыми мозгами, который взорвал автобус. Не знаю, что ему обещали – девственниц в раю или просто большие бабки его семье, но мне его жалко». И я потрясена твоим великодушием, твоим невероятным великодушием, которое мне и пример, и урок, и укор – на всю жизнь, и одновременно я злюсь на тебя: ты опять отказываешься от помощи, от очередной возможности, сама говоришь, что было бы легче, и отказываешься, ты упорно не хочешь ни плакать, ни ненавидеть, ты явно не ищешь легких путей... И еще я думаю о том, что утром обсуждали по радио: о двух арабских девушках в белых хиджабах, которые тоже ехали в автобусе и были предупреждены. Террорист подошел к ним и тихо по-арабски приказал выйти – сойти на ближайшей остановке. Взрыв прозвучал минут через двадцать после этого. Они могли позвонить в полицию – предупредить, можно было бы что-то сделать – водителю позвонили бы, он мог бы успеть эвакуировать пассажиров, или толпа солдат (пол-автобуса!) обезвредила бы того парня. Но они не сделали этого – они ничего не сделали, просто сошли на остановке и, наверное, сели на следующий автобус – почему? Они не могли не понимать, что должно произойти, – так почему? Мусульманский фатализм или полное безразличие, или... Или ненависть? Неужели и эти две девушки, студентки израильского университета – неужели настолько? Я еще не знаю, что об этих девушках буду думать очень часто, почти так же часто, как о вечном недосказанном между тобой и Йони, но думать не в контексте политики (я не знаю, что такое политика – это пустое слово, это то, о чем пишут и ругаются на «Фейсбуке» и в «Живом Журнале», и мне никак не удастся проникнуть в суть всех этих

фраз, а особенно определений), нет, я думаю не о лояльности, даже не о порядочности, я думаю о страхе – о том страхе, который прячу, с которым борюсь, которого стесняюсь, но он вылезает, как горб, и я стараюсь отвести взгляд или улыбнуться, чтобы ничем себя не выдать – я ведь знаю, что такой страх, помимо всего прочего, оскорбителен – и для меня и для того, на кого он направлен, и краснею, и мне очень стыдно, но каждый раз, когда я говорю с арабом, вступает в свои права страх, и мелькает – иногда очень быстро, но мелькает – эта мысль: а что, если он ненавидит меня, если в глубине души этот человек ненавидит меня и видит меня мертвой, улыбается мне и ненавидит меня. Конечно, скорее всего это не так, но что, если так, и что мне с этим сделать, как быть, как выдержать?

... Через одиннадцать лет после этого разговора я окажусь в арабской деревне Дабурия под горой Тавор – одна, за рулем и беременная. Будет солнечный, теплый январский день, и я спущусь с горы, пахнувшей туей, розмарином и лимоном, по извилистой дороге, притормаживая на резких поворотах, к желтому минарету, чтобы встретить потного и счастливого мужа, взлетевшего с горы Тавор на своем сине-белом, как флаг Израиля, парашуте, парившего, как огромная птица, с удивленными пеликанами и приземлившегося у шоссе. «Я у желтого минарета, – скажет муж, – приду минут через двадцать, жди». А я, разогретая солнцем, как ящерица, изможденная сильными толчками в дынном животе, нетерпеливая, заведу мотор и быстро парирую: «Зачем? Лучше я тебя заберу, желтый минарет – не иголка, я найду, я уже отсюда вижу». Но, объехав трижды желтый минарет, я пойму, что мужа тут нет и не было, а он будет убеждать меня в том, что стоит именно у желтого минарета, и я буду ездить кругами, задерживая движение, пока не догадаюсь, что в деревне Дабурия не один желтый минарет. И не будет выхода, как обратиться за помощью, но я пойму, что школьники, толпой хлынувшие на улицы, плохо говорят на иврите, а к мужчинам мне будет страшно обратиться, и, наконец, женщина за рулем «ауди» в черном блестящем хиджабе, приветливо улыбнется мне, откроет окно, скажет «шалом», и я, бледнея и запинаясь, задам свой вопрос и узнаю, что в деревне Дабурия даже не два желтых минарета, а четыре. Она подскажет мне, как ехать к самому главному – наверняка муж там, – а я сойбьюсь с пути, заеду в самую глубь деревни, петляя на узеньких улочках в середине горы, еле вписываясь между низенькими, острыми домами, проезжая вплотную к веревкам с развешанным бельем, окруженная любопытными школьниками, заглядывающими в окно машины, и пожилыми неторопливыми мужчинами, пьющими крепкий кофе на каменных ступеньках, которые будут пожимать плечами на мой вопрос: «Какая это улица?» – а я буду каждые две минуты звонить мужу, и – чуть не плача, нервно – говорить: «Ну узнай, какой адрес, спроси название улицы, и я поставлю Джи-пи-эс. Почему ты не можешь узнать название улицы?!» – пока не дойдет, что это – бесполезно, что на Джи-пи-эс никакой надежды нет, потому что Дабурия – маленькая деревня и здесь просто нет названий улиц, и что зря не послушалась мужа и не осталась в сверкающем на солнце серебристом «хёндэ» на горе Тавор среди своих любимых розовых анемонов, и что сейчас меня растрясет на этой крупной брусчатке, и начнутся преждевременные роды... Но я, конечно, буду говорить себе «успокойся, нельзя нервничать», ловя на себе взгляды местных жителей, понимая, что практически заехала к ним в гостиную, что я – в самой гуще деревни, в самом сердце плотной и незнакомой мне жизни, и, конечно, они смотрят на меня, им интересно, кто это бесцеремонно вторгается к ним, что тут потеряла эта молодая беременная женщина, но смотрят не враждебно, просто с любопытством, и буду уговаривать себя, что это – наши арабы, израильские, и тут же передернет: что значит «наши» – это неправильное слово, они ведь не домашние животные, они не могут быть «наши» или «не наши», они – сами по себе, ничьи, как и все люди, и тут я быстро вспомню тех двух девушек в 516 автобусе, и сразу заставляю себя их забыть. И в это время зазвучит муэдзин из очень громких, надтреснутых динамиков, созывая жителей деревни на послепоуденную молитву,

а я как раз заеду в тупик – в закуток жилого дома, откуда одна дорога – резко вниз по откосу, куда ехать страшно, особенно мне – с дрожащими руками, с живым, дышащим пузом, а развернуться, не покалечив автомобиль, я тоже не смогу, поэтому я просто замру, загораживая дорогу едущей за мной машине, и зарыдаю в голос, а в мобильный телефон, прижатый к уху, будет доноситься глубокий баритон мужа, говорящий какие-то утешительные и вразумительные слова, которые будут казаться в тот момент полной бессмыслицей, и муэдзин – муэдзин будет звучать дважды: и совсем рядом – за домами внизу, и в трубке, и я пойму, что муж – там, у того минарета, где поет муэдзин, и мне тоже надо туда, это совсем рядом, судя по близости звука – внизу, там, куда страшно поехать, а солнце уже ниже, и машина сзади загудит, и слепыми глазами посмотрит на меня старуха в белом платке и черном платье, а рядом – мужчина лет пятидесяти, с седыми волосами, забранными в хвостик, – обратится ко мне на иврите – что-то спросит, постепенно до меня дойдет, что он все понял и предлагает самому сесть за руль и съехать вниз с той страшной горки, но я яростно замотаю головой, сквозь слезы, и поглажу живот, и подумаю в ужасе, что если они захотят, то смогут сделать со мной все, что угодно, абсолютно все – я сама к ним приехала, вторглась, напросилась, блокирую движение, и что я вдвойне беспомощна из-за своего неуклюжего, живущего своей жизнью живота, и как это не лепо – полнота жизни во мне и ужас моего положения...

Водитель в машине позади меня сообразит, что имеет дело с непроходимой дурой и даст задний ход, а седой, длинноволосый мужчина движением фокусника вдруг достанет из-за спины большой мешок и начнет разбрасывать кругом ошметки рыбы и мяса, и на это угощение слетятся кошки, тьма кошек – наверное, не меньше сорока: черные, тигристо-рыжие, пятнисто-серые, по-египетски длиннолапые, с вытянутыми мордами и большими ушами – обыкновенные израильские уличные кошки... И это будет настолько неожиданно, настолько вразрез с моими ожиданиями, что я сразу приду в себя, соберусь и медленно, осторожно, не спуская ноги с тормоза, съеду со страшной, почти отвесной горки и приеду к очередному желтому минарету, у которого опять не найду мужа. Но это уже неважно, потому что за время моего рыдания в закоулке муж договорится с местным арабом, и тот позвонит мне, по моим мало внятным описаниям поймет, где я нахожусь, приедет за мной на мотоцикле и выведет меня туда, где ждет взволнованный муж, так что четвертый минарет деревни Дабурия я так и не увижу.

Я покорно поеду за мотоциклистом и вдруг пойму, что за этот мучительный час все жители деревни пытались мне помочь, и станет ужасно стыдно за свой страх, а в то же время я буду четко осознавать, что ему некуда деться, что он так и будет жить во мне, вылезая при каждом удобном случае, выпирая из-под одежды, как лишняя часть тела, – сильнее и выпуклее, чем мой живот, и еще я пойму, что, если бы не этот страх, я бы получила удовольствие, я бы наслаждалась этой безумной картиной: в конце вертлявой улочки, ведущей в никуда и вниз – почти в обрыв, под надтреснутые крики муэдзина, на фоне начинающего заходить солнца слепая старуха, похожая на древнюю статую богини правосудия, неподвижно сидит на белом пластмассовом стуле среди бельевых веревок, седеющий мужчина с артистическим хвостиком кормит пеструю стаю кошек, и рыдает за рулем серебристого «хёндэ» беременная тетка...

* * *

Ту нашу единственную встречу летом 2002 года я не забуду никогда. Я уже не надеялась, Рахель, не смела, думала, что ты ускользнешь в своей непринужденной манере, закрытая для меня в своем решительном, гордом отказе от горя, и лето 2002-го останется навсегда незавершенным, оставившим за собою ничем не заполнимую пустоту. Я мысленно представляла, как ты отдаляешься – неуловимая и прекрасная, растворяешься в гуле шумной

израильской толпы, в грубоватом и густом кофе «боц» (получившем такое прозвище из-за схожести с мокрой, вязкой землей), который пьют солдаты, и во всяких других армейских словечках, указывающих на твою принадлежность недоступному мне и взрослому (как я успела понять) миру. Но случилось чудо: ты сообщила, что сможешь заскочить в район Тель-Авива в четверг вечером – на пару часов. А я, вспомнив про пустующую квартиру мамы в Гиват Шмуэле, сразу предложила тебе остаться на ночь и поехать домой в Наарию в пятницу утром. И целую неделю я готовилась к встрече, продумывая, что сказать тебе, проигрывая в голове бесконечные варианты диалога и те спасительные соломинки, которые могу предложить тебе на выбор. Да, я считала тебя утопающей, Рахель, причем в худшем варианте – когда человек даже сам не подозревает о своем «утопании», но мне это было ясно из тех обрывков твоей жизни, о которых ты вскользь сообщала по телефону: о том, как на похоронах Йони ты упала в обморок (рассказывая мне об этом, ты быстро добавила: «Все из-за жары, я очень мало пила в то утро»), и о том, что ты наотрез отказалась от услуг армейского психолога и даже твои родители не смогли тебя уговорить... Ты изо всех сил мужественно держалась, как последний воин в осажденном городе, а я стремилась прорвать твою осаду, докопаться до тебя, я хотела, чтобы ты перестала – хоть на час! – быть сверхчеловеком. Конечно, у меня не было права, конечно, это было высокомерно и нагло – думать, что мне видней, что я лучше знаю, как помочь тебе, но мной руководили не соображения, а страх – дикий страх перед твоим непроницаемым молчанием: меня пугало это упрямство, и еще больше то, что стояло за ним, меня пугало то, что будет потом, если глухо запертое на все замки, застоявшееся горе вдруг отомстит тебе – в самый неожиданный момент предательски поперет на тебя, хлынет из всех щелей, неостановимое и нескончаемое, как каша из сказки «Горшочек, вари!». Я уже понимала – догадывалась, – что горе нельзя копить и тем самым множить, что от него надо избавляться сразу – хотя бы заплакать, Рахель, хотя бы один раз позволить себе заплакать!

Но когда ты шагнула навстречу из дверей автобуса – в оливковой форме, с взъерошенным ежиком черных волос, с той же неизменной мальчишеской стрижкой, которая так тебе шла, и без автомата, который я так жаждала увидеть (последняя полудетская иллюзия отпала) – я поняла, что все то, что я собиралась делать, – делать ни в коем случае не надо. И весь вечер, и все утро убеждалась, что права: когда ели пиццу в пиццерии Ави за углом – почти молча, когда допоздна разговаривали на кухне, когда ворочались на широкой кровати в спальне мамы и отчима в летней непроницаемой темноте и обе не спали, когда утром пили кофе с булочкой в большом торговом центре Азриэли (по-нашему «каньоне»), откуда уходил поезд, когда курили на перроне, я – вторую сигарету в своей жизни, и не потому, что хотелось, а из солидарности, и я любовалась твоими длинными ресницами (вспоминая, как ты жаловалась, что они мешают тебе смотреть в микроскоп на уроках биологии) и тем, как ты играешь с сигаретой своими неправдоподобно длинными пальцами, и в тот единственный короткий момент откровения, когда, сидя на диване, покрытом блеклым голубым покрывалом – мнимой защитой от когтей нашей кошки, – в пыльной, запущенной за безлюдное лето квартире, ты сказала, глядя мне в глаза: «Это больно, знаешь, это очень больно», но я понимала, что это – совсем не то, что я хотела услышать, настолько отстраненно, почти с иронией это прозвучало, с интонацией мудрого, взрослого человека, который смирился с тем, что горе в жизни неизбежно, что оно везде, кругом, и поэтому нет надобности пускать его в себя или как-то разбираться с ним, оно так же естественно, как то, что растут ногти и заканчивается туалетная бумага...

Что-то такое было в тебе в тот вечер, что я сдалась – сразу, поняла: нельзя туда лезть. Надо уважать твой выбор, каким бы опасным он ни казался, не только не мешать, но подыгрывать тебе, Рахель, не нарушать твой хрупкий баланс и, если ты – одинокий, стойкий воин в осажденном городе, молча подавать тебе патроны. Я забыла про все свои заготовки, про все

придуманные, прокрученные в голове диалоги и не сказала ни слова на эту тему, и следила за тем, чтобы даже паузы были не на эту тему, а уж тем более – длительное молчание. Весь вечер и полночи, лежа на животе на кровати и болтая ногами в воздухе, мы говорили о чем угодно и обо всем на свете, и я сама не заметила, как с необыкновенной легкостью и неприужденностью рассказывала тебе о своей любовной истории, самой последней, непонятной (как мне казалось, загадочной!), хотя одновременно что-то заставляло оценивать каждую деталь, каждый эпизод заново, и какой ерундой казались все мои переживания по сравнению с твоими – несравнимо, просто несравнимо! Я сама удивлялась, как, не стесняясь, рассказываю эту чушь (стандартный набор: не позвонил, не написал – то есть пропал, всевозможные предполагаемые причины такого поведения и подробный разбор доказательств того, что он ко мне все же равнодушен, напоминающий реплику Золушкиной сестры из пьесы Шварца: «Принц взглянул в мою сторону три раза, улыбнулся – один, вздохнул – один, итого – пять»), как ты выслушиваешь это все, уточняешь, анализируешь, советуешь, и как ты ухитрилась сделать так, что все это – несмотря на контекст – выглядит совершенно естественно, и я не только не сгораю от стыда, но даже не краснею...

И вот тут появляется молоко... Весь вечер, несмотря на мою бессовестную болтовню, мне беспокойно, потому что я понимаю, что играю по твоим правилам и этим выполняю твою молчаливую просьбу, но – по большому счету – никак не помогаю тебе, не сделала для тебя ровным счетом ничего, да и не могу сделать, и что эти идиотские подробности моей расплывчатой любовной истории отвлекают тебя, может, даже развлекают, но это ведь не то, мягко говоря, и ощущение бессилия, своей полной беспомощности приводит меня в ярость, я никак не могу с этим смириться, и весь вечер и половину ночи ищу, все время ищу выход, и вот утром он находится сам, точнее, даже не выход, а ход – находка, отгадка того единственного направления, в котором могу пойти, не нарушив твое равновесие, не разрушив твоей обороны.

Проснувшись, не заходя в туалет и не почистив зубы, я голодными, торопливыми шагами врываюсь на кухню и распахиваю дверцу огромного, дребезжащего, как старик, холодильника. Но в отсутствие мамы он сильно захирел и осиротел – гулко, оледенело и остервенело пуст, в нем ничего нет, кроме нераспечатанного сине-белого картонного пакета компании «Тнува» – моего хорошего старого знакомого – «молллока». Срок годности еще не вышел. И мне приятно, что единственное содержимое холодильника – именно молллоко, мысль о привычном кофе с молллоком вселяет чувство уюта, обычности и повседневности происходящего. Я нахожу в маминей спальне маникюрные ножницы и аккуратно срезаю белый картонный уголок. Теперь из круглой маленькой дырки в любой момент может политься заманчивая струя молллока... Вот только кофе на кухне нет. А молоко без кофе ни одна из нас не пьет. Но я уже вытащила тугой, до краев заполненный пакет, удерживаю на раскрытой ладони, ощущая его вес, его тяжесть, его значимость, и ставить обратно не хочу. Мне все кажется, что надо найти применение, что именно этот пакет с молоком может спасти ситуацию. И вдруг осеняет. «Рахель, – говорю я, – у меня есть идея». Ты сидишь, забрав ноги на стул, обхватив колени, и смотришь перед собой, а на самом деле – внутрь, куда-то далеко внутрь себя...

Но я уже придумала, я знаю, что может растормошить тебя, завести... «Рахель, – говорю я, – мне очень жалко это несчастное молоко – оно столько простояло тут, в холодильнике, а пока кто-нибудь в следующий раз сюда приедет, оно уже испортится, и останется только выбросить его на помойку, и получится, что оно жило зря – а оно ведь и так страдало: провело несколько недель в холодильнике, совсем одно». (На самом деле я говорю не «оно» а «он» – молоко на иврите – *халав*, мужского рода.) «Нельзя допустить такую несправедливость, Рахель, ведь ради этого литра молока мучили бедную корову: бородатый кибуцник

Хаим впивался ей в вымя грязными ногтями минут десять, это молоко было частью живого, поэтому оно и сейчас – даже после пастеризации и упаковки – немного живое и заслуживает другой участи, оно должно оправдать свое существование, давай, Рахель, давай я возьму его с собой в Питер – пусть у него будет яркая, хоть и короткая жизнь, пусть это молоко, этот *халав*, станет гражданином мира, путешественником, странствующим артистом, пусть он удостоится необычной, особой судьбы – ты ведь никого не знаешь, кто летал бы из страны в страну в обнимку с пакетом молока из супермаркета...»

Ты, как всегда, понимаешь меня с полуслова, и все это время увлеченно слушаешь, и чертики бегают в твоих глазах, и в этот момент ты возвращаешься, ты – та Рахель, которую я знала, Рахель, которая-до-гибели-Йони, и ты не выдерживаешь, перебиваешь, включаясь в игру: «Тогда, – говоришь ты, – надо сделать ему биографию, чтобы было понятно, что это – не простой *халав*, а Халав с большой буквы – личность...» «Паспорт! – подхватываю я. – Это все будет в его паспорте, ведь без паспорта не пускают в самолет». И мы, разыскав большой черный фломастер, грубыми, толстыми штрихами, рисуем сзади на пакете большой прямоугольник и внутри записываем все данные нашего подопечного, присочиняя новые категории по воле фантазии. Мы сразу пишем, что гражданство у него израильское, а про национальность колеблемся: может ли он быть евреем? А если именно эта корова принадлежала арабу или родилась в арабском селе? И в итоге пишем «национальность: молочная», дата изготовления – дата рождения, а дата истечения срока годности – это дата, когда нужно поменять паспорт и одновременно наградить наше Молочко (*Халавуш* – так звучит это уменьшительно-ласкательное на иврите) статусом почетного долгожителя, и долго спорим, кто его мать: корова или фирма «Тнува», и решаем, что все-таки – корова, а «Тнува» – роддом, и женат он на своей красавице упаковке, с которой не расстанется, но у него внебрачные дети – девочка и мальчик: сметана и йогурт, а папа конечно же тот самый киббуцник Хаим – придуманная нами бородатая доярка.

Мы сочиняем весело, увлеченно, задорно, перебивая и одновременно читая мысли друг друга, мы дурачимся и смеемся, но это все всерьез, очень всерьез. Вдруг ты обращаешь внимание на отрезанный уголок Халавуша: «Но зачем ты открыла? Как ты теперь его увезешь?... Больше недели до отлета – оно прокиснет, будет вонять...» – «Это – мои проблемы. Я тебе обещала, и я это сделаю. Чего бы это мне ни стоило, даже если у меня попытаются отобрать его на контроле – в крайнем случае, самолет улетит без меня, но я не сдамся. Представляешь, наш Халав будет узником Сиона, только наоборот – буквально...»

Рахель! Посмотри на меня!» Я знаю, что мой голос звучит торжественно и глупо, но мне плевать: мне нужно, чтобы ты поняла меня и – еще важнее – чтобы ты поверила. «Послушай меня! В тот день, когда я буду улетать, я хочу, чтобы ты думала обо мне, и я хочу, чтобы ты знала, что я лечу вместе с Молочком, чтобы у тебя не было никаких сомнений, чтобы ты представляла себе выражение лиц людей на контроле, моих соседей по самолету, моей мамы, которая будет меня встречать... и да – можешь представить себе и запах – тот запах, который будет исходить от Молочка через девять дней... И еще – мое лицо: представляй весь день мое непобедимое, непоколебимое лицо, мое хладнокровное, непроницаемое лицо – лицо защитницы Молочка: победоносное и ликующее, наглое, самодовольное, идиотское и счастливое!» И ты смотришь мне в глаза и очень тихо, но властно – с напором, с надеждой, со скрытой мольбой – говоришь: «Обещай мне. Обещаешь?» И я говорю: «Обещаю».

Про Израиль говорят «земля, текущая молоком и медом», и теперь я понимаю, почему на иврите *Исраэль* – это всегда *она*, женщина. Когда рожаешь ребенка – истекаешь молоком. И медом. Точнее, молоко становится сладким, как мед, густым, как мед, и голубоватым, как синие прожилки на набухшей груди. Конечно, сладкое, медовое – ведь все последние месяцы беременности я поглощала бесчисленные шоколадки, пирожные, булочки с корицей, какао,

варенье, по два раза в день пила чай со сливками – с бессовестным наслаждением ублажала поселившегося во мне Винни Пуха, а на самом деле – трудилась, как пчела: взращивала внутри себя самое вкусное, самое сладкое молоко – тягучее, теплое, сонное, и вот теперь у меня две тяжелые, как вылитые из меди, груди – постоянная молочная фабрика, и молоко не просто льется, оно бьет ключом – упругой струей, фонтанной дугой, заливая все вокруг. Я живу в полусне – в рассеянном, почти потустороннем молочном мире: из меня сочится молоко, я буквально истекаю молоком, оно везде – на ночных рубашках, лифчиках для кормления, на простынях, на пододеяльниках – оно просачивается всюду, затопливает верхние этажи памяти, и я забываю нужные вещи, теряю элементарные навыки и хочу только есть и спать, и видеть сны, и любить – это все мне нужно для производства, для главной молочной работы. Я пахну душистым, как мед, молоком, и моим молоком пахнет ребенок, насосавшийся, отвалившийся, причмокивающий во сне, а на носу у него капельки пота – он прижимается ко мне, по-хозяйски обхватив ручкой грудь, а грудь жаркая, горячая, как перегретая плита, – она работает без перерыва, производит все новое и новое молоко для своего выкармливания, для смешного сосунка, и, чтобы она не забывала, чтобы ни на миг не прекращала работу, он слепо тычется в грудь и долбит ее, стучит в нее, как маленький дятел, который не умеет пока ничего – только есть и спать, но этого ему вполне достаточно для того, чтобы его любили, и я люблю и истекаю молоком, и много ем, и много сплю – вместе со своим Дятленком, который не оставляет грудь даже во сне, не разжимает челюсти, как бульдожка, и недовольно морщится, если теряет сосок, и я уже не знаю – это он продолжение моей груди или я вся – продолжение его маленького, нежного тельца, но мы – одно целое, погруженное в один молочный сон. Наяву я тоже почти во сне: на что-то не реагирую, а многое не слышу, ко мне трудно пробраться сквозь молочную пелену, которая заглушает, смягчает все звуки и мысли, сквозь убаюкивающий, мерный ритм сосания и глотания, и только муж поддерживает связь между мной и реальностью, а иногда и он становится частью моего дымчатого, мягкого молочного мира, прижимаясь к моей спине, когда я кормлю, когда вижу молочные сны. Это мое молоко – оно ничем не похоже на освежающее, невесомое молоко юности, на молоко лета 2002 года, но почему-то не раз вспоминаю о нем во время кормления – и о молоке, и о том лете, и о Молочке-путешественнике: не знаю почему, но все пытаюсь понять – зачем я это сделала, зачем совершила тогда эту дикую выходку с Молочком, и теряюсь, путаюсь в мыслях, и понимаю только одно: что у меня есть время, что пока я все могу – и любить, и защитить, и оградить от беды, и именно для этого мое молоко, и оттуда эта потребность – чтобы Дятленок брал грудь, чтобы его губы смыкались волшебным кольцом вокруг соска, регулярно освобождая от этой тяжести, которая и есть любовь, чтобы молоко текло, текло – так же постоянно и беспощадно, как время, что мне нужно это, необходимо, и поэтому – в тот раз, когда в середине апреля я выбежала на еще прохладный, сырой шведский воздух в одной ночнушке – выскочила за дверь, чтобы поскорее достать из коляски, поскорее покормить, – и простудила грудь, и начался мастит, – именно поэтому грудь стала невыносимо тяжелой и болезненно твердой – это забродила, загустела и застыла комками любовь, которой не дали пролиться молоком, это от закупорки любви у меня поднялась и держится температура, и пока сын спит, я мучительно сцеживаюсь и прижимаю к груди горячую грелку, а она ждет единственного прикосновения, и ничьих губ так никогда не ждала: еще давно, в период первых свиданий, когда мы с мужем летали друг к другу через континенты, я призналась ему, что грудь у меня совсем не эрогенная зона – «Я просто ничего не чувствую – они для меня все равно что ноготь...» – и с тех пор он стал звать мои груди «ноготочками», но теперь моя любовь живет и там тоже и напряженно работает, и, когда под медным хохолком вздрагивают рыжие брови, чуть приподнимаются рыжие ресницы, а губы уже делают «сисечные движения», я облегченно притягиваю к себе полусонного ребенка и наслаждаюсь тем, как он опустошает меня, дарит чувство легкости, в который раз принимая

мое молоко, временно освобождая меня от бремени любви, от ее жара и бреда. И я думаю – ну, хорошо, год, полтора, два – но когда-нибудь я перестану кормить, оно закончится, мое молоко, а что я еще умею, кроме этого: как противостоять голодному, жадному миру – с каким оружием в руках, и вспоминаю историю с молоком, которая демонстрирует: ни на что, кроме глупостей, я не способна, и мне становится страшно, и в ночной темноте я прижимаю к себе двух-, шести-, десятимесячного ребенка, а он все так же доверчиво, не открывая глаз, ищет грудь, воркует, находит и впивается в нее, поглаживая рукой (сейчас иногда и ногу на меня кладет или просто пинает в живот, а иногда смеется во сне, не выпуская изо рта сосок), а я нюхаю его, и, хотя днем он уже ест взрослую пищу, он все еще пахнет мной – моим молоком, и я утешаюсь, успокаиваюсь и начинаю ровно дышать, чтобы поскорей уснуть, но мне все равно страшно, чем больше любви – тем страшнее, и надо понять, что это было летом 2002 года, что за история с Молочком: зачем я это сделала и что дало мне тогда ощущение силы – абсурдное, нелепое ощущение силы (а я это хорошо помню!), поэтому я пишу, хотя ты запретила мне писать об этом, говорила резким, ледяным тоном, и я сдалась... Эта история жила где-то под небом, за языком, который я прикусила, запрещая ей вырваться наружу, но сейчас мне хочется выдохнуть, я должна, я не могу иначе.

С того дня, когда я обещала тебе провезти Молочко через границу – взять в небо, а потом показать ему питерское небо – по-северному светлое, блеклое (даже вечером), с того дня прошло двенадцать лет, если быть точнее – одиннадцать с половиной. С того времени мы говорили о Йони два раза. Один раз – год спустя, когда ты мимоходом сообщила мне, что мама Йони – в 51 год! – ждет ребенка (теперь я понимаю: это просто был самый верный путь к спасительному забвению, потому что когда течет молоко – забываешь), и второй раз – три года назад, когда я сказала тебе, что хочу написать этот рассказ, а ты пришла в ярость и запретила мне, хотя имя «Йони» даже не было напрямую произнесено, согласно молчаливому договору между нами, я просто сказала, что хочу написать про «историю с молоком», и ты сразу все поняла, и рассердилась на меня, и запретила. Значит, это не придуманная мною бредовая фантазия, а ты тоже прекрасно знала, что наш Халав-путешественник имеет прямое отношение к Йони и к взрыву в автобусе. А я, конечно, тоже знала, но не смогла бы объяснить, сформулировать, какая тут связь. А теперь могу. Это заняло у меня одиннадцать с половиной лет и четырнадцать вордовских страниц...

Я не знаю, представляешь ли ты, Рахель, как непросто было выполнить обещание. В письме-отчете я только написала тебе, что Молочко долетело до Питера, – без подробностей. Я опустила то, что Молочко, стоявшее на одной из папиных книжных полок (я не хотела поставить его в холодильник, опасаясь, что папа – по рассеянности – просто выпьет его с кофе), скисло и запахло намного раньше, чем я предполагала, и то, что опрыскивание Молочка духами «Hugo Boss» не улучшило ситуацию, а наоборот, и что все девять дней до отлета папа шутиливо, но ежедневно грозился выбросить Молочко на помойку в мое отсутствие, а я огрызалась: «Только попробуй!» – и даже пару раз перепрытывала его в менее доступные места, но беднягу выдавал запах, и в последние дни перед отъездом, когда положение было уже катастрофическим, я не отлучалась из дома, не рискуя испытывать папино терпение, и что я повезла открытое, вонючее молоко с собой в ручной клади – в своей изящной небесно-голубой сумочке, которую потом пришлось выбросить, потому что ее было не отмыть от этого запаха, молоко выпирало из нее своим сине-белым картонным выменем – оно не влезало в сумочку полностью, поэтому молния была не до конца застегнута, и я все время волновалась, что выпадет паспорт, но послать Молочко багажом было исключено – во-первых, зловонная полужидкость могла пролиться, во-вторых, часть уговора-обещания состояла именно в игре до конца – в полной провокационной бредовости этой затеи. Я опу-

стила и то, что в день полета запах Молочка достиг своего апогея и люди в аэропорту шаркались от меня, как от бомжа, что чудом меня пропустили с жидкостью на борт самолета (хотя, наверное, к этому времени Молочко уже створожилось и жидкостью больше не являлось), что встречающая меня бедная мама, которую всегда пугали проявления моей «ненормальности», сначала отказывалась посадить меня с Молочком в машину (я настояла), а потом всю дорогу спрашивала: «Ну зачем ты это сделала, скажи: зачем ты это сделала?» – и мои ответы («он заслуживал другой жизни», «ему было одиноко в холодильнике», «я обещала Рахель») ее явно не удовлетворяли. Но, сказать тебе честно, мне все это было до лампочки, в тот вечер мне все было до лампочки, я въезжала в бледно-сумеречный Питер победителем (хоть и на заднем сиденье), улыбаясь, и улыбаясь стояла потом перед подъездом дома – одна, у большого мусорного бака, прощаясь навсегда с Молочком: мама сказала, что «домой – *это* не войдет», и я не возражала. Молочко пролетело со мной тысячи километров, оно въехало в августовский Питер и увидело из машины Спаса-на-Крови – у него была исключительная, выдающаяся жизнь, и теперь ее было не жалко прервать (ведь не собиралась же я объединиться с Молочком навеки!), а главное – цель была достигнута, очень простая, очень внятная цель: теперь я могла написать тебе, Рахель, написать без лжи и без преувеличения, что наш Халав долетел до Питера, что он повидал мир и умер смертью храбрых на чужбине, и я знала, что ты прочтешь эту фразу и поймешь то, что я хочу тебе сказать (ведь «история с Молоком» – это просто наш с тобой диалог, Рахель, наш разговор в той области, которая за пределами слов): конечно, мы живем в ужасном мире, где взрываются автобусы, и гибнут мальчики, которым не успели сказать главное, и любовь совпадает иногда со смертью, и мы с тобой проживем жизнь и состаримся, и у нас будет много забот, и горе тоже будет – оно ни про кого не забывает, в щедрости ему не откажешь, но у нас всегда будет «история с Молоком» – она наша, Рахель.

Девочка-которую-очень-любят

Мама достает меня из ванны и закутывает в огромное голубое полотенце. Через ее плечо я вижу мир. Первое воспоминание.

Плед в бело-розовую клетку. Уменьшается по мере того, как я расту. Шагреневая кожа.

Рядом с папой, на ковре, юла размером с мою голову. Крутится, крутится, крутится. Уже не разобрать, где какой цвет, а может, и не было цвета, и юла существует только так – в движении. Потом так же будет крутиться *севивон* – ханукальный волчок, только он – намного меньше, и я смогу сама запускать его, а юла останется непостижимой, подвластной только папе. Я пока умею смотреть, не больше.

Просыпаюсь от того, что лицо щекочет солнечный зайчик. Комната разрезана на две половины лучом света, а в нем летают пылинки. Может, и не пылинки, а частицы воздуха. Их особенно видно, если сильно зажмуришь глаза, а потом чуть приоткроешь. Они почти прозрачные, но по краям изгибисто-золотистые. Я их называю змейками.

Змейки никак нельзя поймать – они очень изворотливые. Остается только смотреть на них. Это и есть счастье. А счастьем нужно делиться. И, посмотрев на спящую молодую женщину на другом конце комнаты, я громко и бодро говорю: «Мама, я проснулась!» Потому что это большое событие – проснуться утром, уверена, что это получается далеко не у всех.

Сижу полуголая на кровати. Шум воды – это мама наполняет до краев ванну. Стягиваю колготки – терпеть не могу, тем более что дома жарко, и я всегда в них потею. Рассматриваю ноги. Между пальцами – что-то темно-серое, особенно рядом с большим пальцем. Скатываю в комок, пробую...

– Фу, что у тебя во рту? Выплюнь немедленно!

– Мама, это *моя* грязь!

Три года. Учусь читать по деревянным кубикам. Надкусываю букву «Г» – соленая. Люблю дерево.

Под елкой нашла деревянный конструктор. Он светлый, гладкий, очень приятный на ощупь. До сих пор пахнет мандаринами. И сосной. Конусы, цилиндры, кубики, арки. И как пахнет! «Ты посмотри, она не строит, она *нюхает!*» – говорит мама папе.

Я не понимаю: почему оттепель – когда совсем не тепло и льет как из ведра? Больше не могу дышать на окно и рисовать на стекле пальцем. Поле моей деятельности сужается, особенно с тех пор, как запретили рисовать на стенах и в книжках...

Держу луковицу в стакане с водой. Выращиваю. Из нее торчит один-единственный зеленый росток. Каждый день проверяю, на сколько он вырос. На участке земли перед домом проклюнулись пучки. Значит, скоро будет тепло. А пока нужно надевать куртку с капюшоном и не наступать в лужи. Если сухо, можно рисовать голубыми и сиреневыми мелками на асфальте – под небом такого же сиреневого цвета. Но мне больше нравится играть в «сад». То и дело слышу:

– Не рви, не трогай, не смей есть землю и вообще отойди от клумбы!

– Мырза, домой!

Домой меня затащить невозможно. Иногда ложусь на землю (на листья, на снег), демонстрирую умильную улыбку и говорю: «Нет». Брату приходится брать меня в охапку и вносить в подъезд.

Когда скользко, брат держит меня за конец шарфика. На всякий случай.

Мою лучшую подругу зовут Катя. Она старше меня на три года и живет в квартире напротив. Точней, не совсем напротив, а прямо и направо – так ходит шахматная фигура коня – единственная, которую знаю. Я ей завидую, потому что у нее и мама, и бабушка, и

прабабушка, а у меня – ни одной, хотя бы завалищей, бабушки. Правда, у Кати нет папы, а у меня есть. Сидим у батареи, делимся гематогеном – любимым лакомством.

– Мама говорит, что гематоген полезный, особенно для крови. От него она очень красная.

– Нет, – говорю, – коричневая.

– Не спорь, я старше.

– Ладно, пусть красная.

Мы один и тот же батон ели – хоть это и не пуд соли, но все же...

– Мама, очень жарко, уже можно носить сандалии без носков!

Стаскиваю носки, переворачиваю наизнанку, гляжу на шов, мусолю в руках, а по ступням, начиная с пяток, растекается ощущение легкости и свободы.

Пакуем зимнюю одежду. Перебираем летнюю. В воздухе сильный запах нафталина. Им пахнет слово «антресоль». Значит, точно лето. Радостно напеваю:

– Мам, смотри, оно короткое, короткое, надо отдать!

– Это же твое любимое платье... – удивляется мама.

Я расту – еще одно доказательство моего существования – помимо грязи между пальцами ног. А где-то на антресоли, вместе с молью (не зря ведь эти слова рифмуются), осталась зима, запакованная в мою шубку.

Залезаю на мебель. Игра такая. Нельзя дотронуться до паркета. А иначе случится несчастье – не знаю какое, но случится. Особенно люблю сходить со стола – в воздух. С лукавой улыбкой. Проверяю взрослых на бдительность. И ни секунды не сомневаюсь, что поймают. И ведь ловят, ловят...

Москва тонет в шелковистой пыли. А на площадке валяются «сережки» – душистые и мохнатые, похожие на гусениц. Я не знаю, как называется дерево, только вижу, как с него падают в пыль сережки. И не разберешь, где пыльца, а где пыль. Мне нравится слово «асфальт» – в нем московское лето. Голубые мелки, и «сережки», и пыль. Играю на «холме» рядом с домом. Копаюсь в земле, в траве, ищу божьих коровок, охочусь за воробьями. Командую Гришей и Димой, придумываю игры. Запасаемся на зиму. Собираем камешки, зерна, листья. Мне нравится держать на ладони темную, слегка влажную землю. Рядом с домом папа с дядей лежат под папиной машиной и чинят ее – на них солнечные блики. Дядя громко чертыхается. А над машиной летает огромная, синяя стрекоза, похожая на большеглазую суровую учительницу.

Корчу всевозможные рожи, кашляю, хватаю ртом воздух.

– Кыня, хватит кривляться!

– Снимите, она меня душит!!!

– Панамка?

– Резинка!

– Вот Мырза!

Так начинается каждый поход в Филевский парк. Фи-ле-вский-парк – моя персональная сказка. Междорожье, распутье, как у Ильи Муромца или Алеши Поповича. Налево пойдешь – выйдешь к реке. Будешь смотреть, как парни в тренировочных штанах сидят на больших камнях на берегу, нацелившись цепким взглядом на воду, как по воде идет мелкая зыбь, а если кинуть камешек – круги; как дрожит, накренившись, голубоватая леска, как из воды выпрыгивает нечто серебристое, но его почти не разглядеть из-за яркого солнца, а оно так

блестит, что ослепляет, и приходится прищуривать глаза... Прямо пойдешь – попадешь в гущу парка, выберешь самую заросшую аллею, где так сгустились кроны над тобой, что почти темно, и только изредка какой-то луч разрезает воздух, щекошет нос, и хочется чихнуть; сядешь на голубую скамейку, недавно покрашенную, еще пахнущую краской, и брат достанет припасенные для тебя банан и ягодный морс, и будешь жевать медленно-медленно, боясь проглотить, потому что только так можно в зачарованном месте... Направо пойдешь – там парк аттракционов, и тебя охватит сладкий страх на колесе обозрения, что сейчас оно остановится, замрет и ты останешься на этой высоте навсегда, но самое любимое – машинки, особенно сталкиваться с другими машинками; и когда брат дает немножко порулить, и запах разогретой черной пластмассы, и следы от шин, и мысль о том, что ты теперь как в мультике «Ну, погоди!», тем более что торжественно надета майка с волком, которую папа привез из Польши, и можно ехать и ехать – на ограниченном пространстве, но в любом направлении, почти как в песне «мы едем, едем, едем в далекие края», а еще лучше, как в песне про Амазонку, и мы тоже теперь едем почти на Амазонку, а если еще сахарную вату – вот тут продается, я видела мальчика с палочкой, а на ней – сладкое облако, – то у меня будет самый лучший день в мире, ну купи сахарную вату, пожалуйста, ну купи-и-и-и, у меня все равно еще нет коренных зубов, и мы в Филевском парке, ты можешь идти домой, пожалуйста, а я еще останусь, никогда не уйду.

Гамак качается, и вместе с ним качается сестра. Одновременно вяжет и читает. Точнее, вяжут ее руки – как бы отдельно от нее. Иногда перелистывает страницу, и тогда становится понятно, что ее руки – это все-таки *она*. Пухлые, всегда чуть влажные губы шевелятся – повторяет слова, на глаза налезает челка, короткие волосы собраны в пучок, и только одна светлая прядь вечно выбивается. Проходящий мимо дядя шутливо окликает ее, она поднимает на секунду глаза – светло-карие, медовые – и показывает ему язык. И продолжает качаться – мерно, безмятежно, а из-под ее рук все удлиняется пряжа, все укорачивается клубок, щелкают спицы и мелькают в воздухе, спицы – это нечто среднее между цикадой и стрекозой, а я лежу на траве, жду, пока брат придет с озера, а сестра все качается, и вместе с ней качаются маленький дачный домик, и мангал, на котором папа с дядей прожаривают шашлык, и таз, в котором меня моют, и настольные шашки-нарды, и простыни, прикрепленные к веревкам деревянными прищепками, и острая трава-осока, которая режет мне пальцы в кровь, и пчела, присевшая на блюдечко с медом, и мама в клетчатом фартуке, которая варит варенье – все качается, все кача...

Запах сосен и земляники – ничего лучше в мире нет. А на полдник – черника с сахаром. Крыжовник – слишком кислый, но мне нравится само название.

Мы с мамой пошли в дальний лесок. Есть ближний – совсем рядом, за оврагом. А к дальнему надо идти вдоль озера, окружным путем. Зато в дальнем самая крупная земляника.

– Давай пописай, а то до дому еще далеко. Вот выберем кустик...

– Нет!!!

– Терпеть будешь?

– Буду.

– Почему?

– Не могу! Тут ягоды! Не могу писать на ягоды!

– Мы выберем место, где нет ягод.

– А вдруг они под землей, затаились?

Все колени в зеленке.

– Не надо было так рано пересаживать ее на двухколесный, – говорит мама.

А дело-то совсем не в этом. Встреча с канавой произошла не потому, что я не умею ездить. Просто подумалось: а что, если не заторможу, вот возьму и не заторможу – что будет?
...

– Хочу в поле, я там утопаю в цветах!

Мама плетет венки. Я ей подаю синие:

– Незабудки!

– Васильки!!!

– А мне хочется незабудки – так красивее!

Но удобнее всего плести из одуванчиков.

Разыскиваю самые крупные и подаю маме – возле нее стопка желтоголовых одуванчиков, на волосах – венок. Восседает на камне, как на троне.

– Мама, давай поиграем, как будто ты – королева, а я – твоя дочь!

Мама читает книжку, а вместе с ней книжку читает ветер. Ветер читает венок, читает траву, читает ямочку над моей коленкой. Срываю гороховый стручок, надкусываю его и отправляю в рот. (Хорошо, что мама не видит, сказала бы, что нужно помыть.) Но сначала перекаत्याю шарики на ладони – какие круглые! И ладони пахнут душистым горошком – пахнут ветром.

А еще одно поле – кукурузное. Туда ходим с братом рвать кукурузу.

– Иначе сгниет, поле ведь теперь ничейное.

Рядом с полем живет козел. Бородатый, белый. Внимательно вглядывается в мое лицо – точно как один папин знакомый.

– Ме-е-е, – робко говорю я.

Козел не устаивает меня ответом, надменно поворачивает голову. Но я не сдаюсь. Я немножко влюблена в козла. Так что у нас с братом разные цели: он идет за кукурузой, а я к козлу.

Но кукуруза меня тоже интересует. Особенно когда ветер. Она так высоко, что до початка не дотянуться. Разгребаю руками заросли, и зеленое море закрывается за мной. Я ушла в кукурузу. Теперь буду тут жить. Брат выуживает меня обратно: живи в мире людей, Кыня, скоро к козлу пойдем. У него в руках несколько початков – такие смешные, как запеленутые.

– Что ты делаешь? Не обдирай, а то испортится!

Но я уже распеленала кукурузу и жадно внюхиваюсь в ее бледно-желтое морщинистое тельце.

– Смотри, – показываю кукурузу козлу, – это варить будем, долго-долго, а потом есть с маслом и солью, только я – без соли, мне не нравится.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.